

## Окраина

Мишкин отец был очень серьезным и даже несколько мрачноватым человеком. Музыка он не понимал, не любил, а музыкантов считал паразитами на теле государства.

— Объясни мне, ну что полезного они производят? — спрашивал он у жены. — Один пшик, сотрясение воздуха. За что им только деньги платят? Хоть убей, не могу понять! Ну, врач — тот лечит людей, портной одевает, ученый двигает вперед нашу советскую науку, строитель строит дома. А музыкант? Возьми любой концерт: сто идиотов сидят в зале, а сто первый — на сцене. А впрочем, тот, что на сцене, не такой уж идиот, если существуют первые сто.

Их близкая родственница, веселая и разбитная тетя Тамара называла его "суровый Дант".

Если нарисовать гипотетический портрет человека, полярно противоположного отцу, то получится портрет Мишкиной матери Эсфири Леонидовны — нежной, восторженной порою до аффектации, с широко раскрытыми огромными всегда удивленными глазами. В детстве ее учили играть на скрипке. За полным отсутствием таланта скрипачки из нее не вышло, но благоговение перед великими музыкантами сохранялось в ее душе до глубокой старости. Слово "Бетховен" Миша услышал от нее раньше, чем слово "троллейбус".

— Ах, Левушка, как ты можешь так говорить? — она прижимала руки к груди. — Тебе недоступны духовные радости. Ты подобен человеку, который проходит мимо рая, только потому, что тот отделен невысоким забором. Приподняться на цыпочки, стать чуть-чуть выше, заглянуть за забор — на это тебе недостает простого любопытства. Боже мой, твои чувства примитивны! Высокое искусство не исторгает слез из твоих глаз.

— Чушь! — отмахивался отец. — Что ты несешь, Эся? Вбила себе в голову эту ерунду, а у ребенка, между прочим, штаны прохудились. Вместо того чтобы исторгать слезы, взяла бы иголку, да и зашила бы прореху. А то, понимаешь, забор, рай, духовные радости... А Мишка задницей светит.

Отец любил жену, хотя и не всегда был ей верен. Однажды маленький Миша, возвратившись из школы, застал мать всю в слезах. Она сидела на полу, держа в руках какую-то фотографию. Часом позже, когда она, слегка успокоившись, ушла на кухню готовить Мише обед, он рассмотрел эту

фотографию. На ней был изображен отец, стоящий рядом с молодой женщиной. Поначалу Мише показалось, что это мама, но потом, внимательно взглядевшись, он понял, что это незнакомая женщина. Но очень похожая на мать: такая же завивка, такие же покрашенные бантиком губы. И даже платье, в которое была одета незнакомка, было похоже на одно из маминых — расширяющаяся книзу юбка, увешанная кусочками материи, которые, как Миша уже знал, называются воланами. Отец обнимал эту женщину за талию, а она глядела не на него, а в объектив, и широко улыбалась. Миша был еще маленьким и не понял, почему мама, глядя на эту фотографию, плакала. Может, ей не понравилось то, что у этой женщины есть такое же платье, как у нее?

Конечно, мать настаивала на том, чтобы Миша начал заниматься музыкой. Отец оказал яростное сопротивление. Но на этот раз мама, в общем, человек мягкий и безвольный, проявила невероятную настойчивость и упорство. В ее стремлении сделать из сына профессионального пианиста смешались многие мотивы: прежде всего, конечно, искренняя и бескорыстная любовь к музыке; во-вторых, уверенность в том, что музыканты — избранный народ, люди, перед которыми бог открывает какие-то неведомые тайны и глубины, обычному, "простому" человеку недоступные (в этом была доля истины, Миша понял это позже); и наконец, ей безумно хотелось, чтобы ее единственный сын, ее душа, ее любовь, ее жизнь, стал тем, кем не смогла стать она сама.

Семья Тарговицких жила на окраине, где по пыльным немощеным улицам деловито шли куда-то строгие гуси, а куры — существа с возвышенной душой — рылись в подзаборных лопухах в тщетной надежде разыскать жемчужное зерно; где на убогой площади перед райкомом стоял вездесущий Ленин с протянутой рукой по прозвищу Жебрак, и где вполне невинный роман учителя химии с учительницей физкультуры был на протяжении долгих лет событием районного масштаба.

Мишкин папа был отоларингологом и работал в маленькой больнице, обособленно стоящей на самом краю города. Дальше начиналась степь. Маленького Мишаню изводили мальчишки. Стоило ему появиться на соседней улице, они прерывали свое излюбленное занятие — игру в блау — и издевательски кричали: "Ухо, горло, нос, сиська, писька, хвост!" — намекая на профессию его отца. Этого Михаил не мог стерпеть. Он впадал в ярость и тут же лез в драку, не считаясь ни с количеством врагов, ни с их возрастом и телосложением. Его били. Порою очень жестоко. Когда после очередной неравной схватки он приходил домой, мама, рыдая, кричала:

"Что же это такое?! Они же убьют его!". Она клала Мишке свинцовые примочки на лицо, а его руки погружала в тазик с содовым раствором. Дай слово, что больше ты туда не пойдешь, сквозь слезы просила мама. Миня отмалчивался, слово не давал. Вечером возвращался отец, смотрел на избитого сына и задавал один и тот же вопрос: за дело дрался? Мишка подтверждал, что за дело. Отец удовлетворенно кивал и больше ни о чем не спрашивал. Через несколько дней все повторялось. Постепенно Миша научился всем приемам уличной драки, а после того как он так ударил Алешку Макаrenchенко, предводителя этой степной голоты, что тот получил небольшое сотрясение мозга, его, признав за ним силу духа и смелость, оставили в покое. Папа ходил к родителям Алешки извиняться. Но при этом так сиял, что родители его извинений не приняли.

А в это время на дворе, широко раздвинув ноги в серых галифе, прочно и, как тогда казалось, неизбежно стояло усатое средневековье.

Тем не менее, Мишкино детство было счастливым. Конечно, сильно мешала и раздражала вмененная мамой в обязанность игра на пианино. Стиснув зубы и изнывая от скуки, он гонял вверх-вниз по клавиатуре постылые гаммы и ненавистные упражнения Ганона. А во дворе тем временем шла настоящая жизнь: разноплеменная толпа мальчишек, пересчитавшись на "аты-баты", делилась на команды и самозабвенно играла в футбол, со страшной силой бабахая мячом в гулкие железные ворота. На этот звук выходила дворничиха, или, как говорили в городе, дворничка, Нина Андреевна Могила — неряшливая грузная вонючая баба с жирными волосами. Она размахивала метлой и кричала страшным грубым голосом: "Га, шоб вы сдохли, иродово племя! Головой своей стукайте, выблядки жидовские! Шоб вас пэрэвэрнуло та й шлепнуло!". В ответ открывалось окно в квартире напротив, и в нем появлялась серебряная голова Леокадии Казимировны, воздушной польской старушки, которую мальчишки прозвали Виконт Добра Желант.

— Кель выражанс, мадам Могила, кель выражанс! То сон джечи!

— Джечи?! — грозно кричала дворничка. — Джечи?! Христопродавцы! Повбывала бы!

— Матка Бозка ченстоховска! — всплескивала ручками Виконт Добра Желант. — Чи розуме пани, цо муви?

Но тут обязательно влезал мясник Мона Перельмутер:

— А вы, мадам Могила, нашего Христа нэ чипайте! — злобно прищурив глаза, скрежетал Мона. — Вам до его дила нема! Вин з нас выйшов, наш парэнь.

— Вей'з мир, Моня, шо вы говорите! Мало нам с того Христа неприятностей?

Это уже Фаня, Фанюра, мама закадычного Мишкиного друга Бори.

— Берэлэ! — вываливалась из окна Фанюра. — Срочно иди до дому! И не слухай, шо воны говорят, — оны уси самашечие!

— И-и-и-раз, и-и-и-два... — доносилось из квартиры Тарговицких. Это мама принимала самое непосредственное участие в Мишинных экзерсисах.

— Ми-ишка-а-а!! — раздавался индейский вопль того самого Бори-Бэрэлэ. — Гениг вже граты, мы ж на тэбэ чекаймо!

— И-и-и-раз, и-и-и-два...

— Шоб ты вже своимы кИшками подавився, — надсаживалась дворничка, повернув свое сальное лицо в сторону Мишкиного окна, — ти бьютэ ув голову, а цей — прямо по голове! Ж-ж-жэды!

Борин дедушка, бриллиантовый светлый старик Израиль Талесник, свято соблюдал субботу, хотя с Богом у него были приятельские отношения.

— Спасибо тебе, готеню, за то, что не сделал меня женщиной! — традиционно начинал утреннюю молитву дедушка Изя. — Особенно такой, как кривая Циля. Такой оторвы ты, готеню, еще не видел. Когда у тебя будет свободное время, загляни на наш базар — я тоби очень ракомендую: там Циля торгует памадоры. Если то, чем та ныкейва торгует, это памадоры, то я, готеню, бурятский крестоносец — прости меня за грубое слово. Не будь я старый Талесник, если эта кривая уродина, шо одним глазом смотрит ув Магадан (не приведи Господи!), а другим — прямо ыв Иерусалим (дай Бог нам всем в следующем году там встретиться!), не спит на тех памадорах. Хорошо еще, если одна!

— Между нами, готеню, — переходя на интимный шепот, продолжал Талесник, — я сам видел, как утром от нее выходил гицель Арон — тот самый, шо живет на Ремесленной и у которого жена больна зобом. Конечно, кривая лучше, чем зобатая, — я его понимаю: он пьет горькую — ему нужно утешение, которое ты, готеню, ему дать при всем желании не можешь, потому шо ты не женщина. Пусть он ходит к Циле — я ничего не имею против. Но зачем же так пить? Аид-а'шикер хуже фашиста! Ты шо, этого не знал? А шо ты вообще знаешь? Сидишь себе там, на небе, как гриб, и до тебя наши дела не касаются! Не, ты гиб а'кик: я к нему обращаюсь как к человеку, а он воды в рот набрал. Вус? А, не морочь мне голову! Тоже мне, Бог называется!

И дедушка Талесник раздраженно срывал с себя молитвенное облачение. Начинался новый день.

— Ривка! — кричал Талесник жене. — Где мои папиросы?

По субботам нельзя было курить, но старик говорил, что глупые раввины неправильно понимают закон Божий.

— Не курить, — он раздраженно стучал кривым пальцем по столу, — а за-ку-ри-вать! Потому что закуривать — это работа, а курить — удовольствие. Что тут непонятного?! А наш ребе просто болван — это всем известно! Он так разбирается в Торе, как я в сен... в хрю... в как его там?!

— В синхрофазотроне, — бархатным голосом подсказывала тетя Рива.

Каждую субботу по утрам Миша приходил к Талесникам, чтобы дать прикурить дедушке Изе.

— Ты хороший мальчик, хотя и плохой еврей, — говорил дедушка, ласково глядя Мишу по голове, — но это лучше, чем наоборот!

Миша получал традиционных десять копеек на фруктовое мороженое, и они с Борькой, обняв друг друга за плечи, шли в соседний двор, где голубятник Вовчик, которому старой немецкой гранатой на длинной деревянной ручке оторвало ступню, когда он, использовав найденную гранату вместо молотка, приколачивал ею последнюю ступеньку к неустойчивой стремянке, уже поджидал их, чтобы поведать новую удивительную историю о похождениях своего дяди, разведчика партизанского отряда, который был влюблен в молдавскую девушку Мариулу — красавицу и чертовски смелую гражданку. И хотя в их лохматые головы и закрадывалось смутное подозрение, что таинственный Вовкин дядя никакой не разведчик, а может быть, и самого дяди никогда не было, но Вовчик рассказывал с таким увлечением, так размахивал руками, так брызгал слюной, что хочешь, не хочешь, а приходилось верить и в дядю, и в геройскую Мариулу, собственноручно убившую двадцать пять фашистских офицеров, и в неизбежность возмездия. Насладившись Вовкиными фантазиями, Мишка с Борей переходили на другую сторону улицы — туда, где за старым кривым забором рос небольшой садик. Вставив хитрые морды в заборные дыры, они, перебивая друг друга, начинали длинный разговор с хозяином садика, упрасывая его разрешить им сорвать яблоко или грушу.

— А ну, байстрюки, геть звидси! — сурово кричал Николай Остапович.

Но байстрюки отлично знали, что суровости этой цена — грош.

— Ну, дядько Мыкола! — кланчили они на два голоса. — Вон сколько у вас хруктив на зэмли лэжить.

— Щас! — говорил Мыкола. — Антэке вох я буду для вас грушкеу гнилых збыраты!

В конце концов, они уходили с полной торбой отборных яблок и груш.

Мишинных родителей уважала вся улица. Особенно отца, Льва Григорьевича. Хирург от Бога, он прославился на весь город после одного случая.

Какие-то восточные люди привезли на базар кумыс — продукт, которого до того в городке никто никогда не видел, и уж тем более не пробовал. Десятилетний мальчик Сева, сын прораба Климчука, который у своих родителей ни в чем отказа не знал, ужасно скучая, тынялся по базару, пока его мама изнурительно пыталась выторговать три копейки у торговки сметаной, вдруг увидел бутылку с надписью "Кумыс". Он вспомнил популярное выражение "Кумыс — напиток богатырей", и ему немедленно захотелось стать богатырем. Выпив стакан кумыса, Сева богатырем не стал, а вместо этого опустился на землю и начал синеть и задыхаться. Смертельно напуганная мама, издавая тоненьким голосом жуткие вопли и не зная, что делать, стала его трясти. Но это почему-то не помогало. Вокруг образовалась толпа, никто не понимал, что происходит. Наконец кто-то побежал искать телефон-автомат, чтобы вызвать "скорую помощь".

Лев Григорьевич, посланец судьбы, в это время в соседнем ряду, прячась от еврейских взглядов, покупал свинину. Услышав женские крики, он протолкался сквозь толпу, увидел синее Севино лицо и валяющуюся рядом бутылку кумыса, мгновенно поставил диагноз — отек Квинке. Дыхательные пути полностью перекрыты — жить мальчишке оставалось меньше минуты. Решительным движением смахнув на землю загрохотавшие банки со сметаной, бутылки с молоком, миски с творогом и другими товарами, он, не обращая внимания на проклятия торговки, поднял мальчика и положил его на прилавок. Вихрем промчался в соседний мясной ряд, выхватил из рук мясника тонкий, острый, как бритва, нож, на бегу вытер его своим носовым платком и, склонившись над уже потерявшим сознание Севой, заорал диким срывающимся голосом: "Духи! Авторучку! Пластырь!". Как видно, Севе умирать было еще рано, потому что все это нашлось в карманах обступивших прилавок и оторопевших от происходящего людей. Мгновенно развинтив авторучку, Лев Григорьевич протер корпус-трубку и нож духами, прицелился и коротким точным движением вонзил нож в Севино горло. Какая-то женщина, пронзительно вскрикнув, упала в обморок. Тарговицкий выдернул нож, в образовавшуюся кровоточащую рану ловко вставил корпус авторучки и закрепил его пластырем. Раздался громкий всхлип — Сева вздохнул. В это время прибыла "скорая помощь".

Через две недели Севу выписали из больницы. Он больше никогда не прикасался к кумысу, а на горле его на всю жизнь остался небольшой

шрам — прикосновение ангела. Благодарный же прораб Климчук, разволив по всему городу эту историю, преподнес Льву Григорьевичу невероятный подарок — фотообои. Такого в городе не имел никто. Суровый Дант не хотел брать, но, заглянув в собачьи глаза прораба, взял. За что впоследствии и расплатился.

С тех пор фамилия Тарговицкий стала для горожан синонимом слова волшебник. У него лечились, к нему ложились на операции, а очень часто просто приходили за советом.

Украинцы приглашали Тарговицких на свадьбы, евреи — на бар мицва, поляки — на конфирмацию, и все — на похороны. Лев Григорьевич относился к этим приглашениям очень серьезно. В его шкафу на почетном месте рядом с украинским рушником лежала темно-синяя бархатная затейливо расшитая кипа со специальной металлической заколкой, которой он прикреплял кипу к своим густейшим черным с собольей проседью волосам.

Эсфирь Леонидовна, собираясь на очередной еврейский праздник, всегда особенно волновалась.

— Мы так виноваты перед ними, — говорила она, качая головой и трагически сдвигая брови.

— Чем? — недоумевал Суровый Дант.

— Ну какие мы евреи? — вздыхала Эсфирь Леонидовна. — Особенно ты — бывший беззаветный красный конник. Ты не только конник, ты циник — любишь свиные отбивные. А они — святые. У них Бог живет в душе. Я не устаю удивляться — как это они нас не отторгают? Знаешь, на их месте...

— Еще бы они нас отторгали! А кто будет лечить их сопливых детей? Живут, понимаешь, в грязи. Полная антисанитария.

При этих словах он умолкал, косясь на маленького Мишу.

Миша не понимал смысла этих разговоров. Что такое "Бог в душе"? И потом, он никогда не видел в доме прозрачного Талесника эту загадочную антисанитарию. Кровать была, шкаф — тоже. Антисанитарии не было. Его мысли тут же перескакивали на другие, гораздо более важные дела: Борька нашел в подвале ржавый немецкий штык, и теперь надо было где-то раздобыть хорошего качества кирпич, растолочь его и счистить ржавчину. Кроме того, надо как-то уговорить Вовку, чтобы он согласился присобачить к этому штыку деревянную рукоятку, что сразу сделало бы его как две капли воды похожим на мушкетерскую шпагу.

— Жалко, конечно, что этот штык нашел Борька, а не я, — думал Миша.

Правда, оружие у него уже было: настоящий эскадрон, который он пару месяцев назад с огромным трудом выменял у Петюни Димитриади на большой медный царский пятак. Но рукоятка, которую Петя шикарно называл "гарда", держалась на честном слове. Ее следовало бы приварить, а как? Была одна-единственная надежда: на Слободке — там, где был сумасшедший дом, ремонтировали трамвайную линию. Этим секретом поделился с ним Ванька, сын участкового, который жил на углу возле аптеки. Ванька божился, что сам видел, как там что-то сваривали. Теперь надо каким-то образом убежать из дому, да потом еще переть через весь город, держа в руках здоровущий эскадрон. Это все было сопряжено с большими опасностями: во-первых, отец, если узнает, может запросто выпороть; во-вторых, по дороге эскадрон могут отобрать пацаны с улицы Панаса Мирного — враги и конкуренты; и наконец, сварщик может потребовать за работу минимум чекушку, а денег-то всего в кармане — двадцать копеек, которые Миша сэкономил на двух мороженых.

Между тем мама надела креп-жоржетовое в крупных цветах летящее платье, которое очень молодило ее, и они всей семьей направились на день рождения к тете Иде Пуриц, подруге маминого детства.

Там было весело. Гости, выпив горилки с перцем, танцевали фрейлехс, а потом начали уговаривать Талесника спеть. Он долго ломался, говорил, что сегодня не в голосе (можно было подумать, что он — Карузо), что он забыл все слова. Но потом все-таки вышел на середину комнаты и под аккомпанемент старенького вдрызг разбитого пианино-прямострунки спел "Рахилю":

"Рахилия, шоб ви здохли, ви мне нравитесь!"

По рядам порхнул смешок, гости зааплодировали. Приободрившийся Талесник рванул "Ай-яй, а штэкэлэ", а потом и свой коронный номер:

А'гитен морген, Фейге-Сошэ,  
Вус зитцт ды азой особенэ?  
Гитен морген, Файвл-Йошэ —  
Мир азой удобэнэ...  
Гитен морген, Файвл-Йошэ,  
Мир азой удобэнэ.

Именно в этот момент в настезь распахнутом окне внезапно появилась нечесаная голова дворничихи Нины Андреевны. Гости втянули головы в плечи, ожидая услышать брань. Сдвинув брови, дворничка грозно оглядела собравшихся, потом вдруг подмигнула и пропитым хриплым голосом запела второй куплет:



А'гитен морген, Файвл-Йошэ,  
Их виль мит а дир гуляевэ.

И гости, все как один, воспрянув духом, дружным хором грянули: "Гитен морген, Фейге-Сошэ! Виль дих провожаевэ". Пела Виконт Добра Желант, пел Ласло Сабо — краснодеревщик с Коминтерновской, пел Моня Перельмутер, пели родители голубятника Вовки, пел прораб Климчук, пела тетка Петюни Димитриади — фининспектор, пела Ванькина мама — жена участкового, пели Лев Григорьевич с Эсфирью Леонидовной. Песня, переполнив двор, выплеснулась на улицу и, прихрамывая увеличенной секундой — этой расплывчатой границей между иронией и грустью, потекла вниз, к далекому Черному морю.

А в это время Мишка сладко спал в соседней комнате на кишашем клопами диване, и на груди его, урча и улыбаясь, дремал рыжий кот по имени Робинзон.

Ганновер

